



РЕМБРАНДТОВА ПРАВДА В ПОЭЗИИ НАШИХ ДНЕЙ

(о стихах В. Ходасевича).

Есть редкое счастье в писании: это возможность естественно поделиться с читателем радостью (радостей мало у нас: потому-то их ценишь); недавно испытывал редкую радость я: слушал стихи; и хотелось воскликнуть: «Послушайте, до чего это — ново, правдиво: вот—то, что нам нужно: вот то, что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений!» Стихи принадлежали поэту не новому,—и поэту без пестроты оперения — просто поэту. В поэте жила одна нота, которая переживает новейшее, ибо новейшее не выживает, новейшее при появлении самоновейшего старится; да, пятнадцать уж лет как господствует в нашей поэзии спорт; самоновейшее вытесняет новейшее; и поэту, которому не пришлось быть новейшим сначала, не уделяли внимания; некогда было заниматься им: не до него — Маяковский «штанил» в облаках преталантливо; и отелился Есенин на небе — талантливо, что говорить; Клюев озеро Чад влил в свой чайник и выпил, развел баобабы на севере так преталантливо, почти гениально что нам не было времени вдуматься в безбаобабные строки простого поэта, в котором правдивость, стыдливость и скромная гордость как будто нарочно себя отстраняют от конкурса на лавровый венок. И вот—диво: лавровый венок—сам собою на нем точно вырос; самоновейшее время не новые ноты поэзии вечной естественно подчеркнуло; и ноты правдивой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло, как новейшие ноты.

Скажу я подобием: был несноснейший живописный период, когда «Мир Искусства», столь давший искусству, как будто прогис в киселе художников «Голубой Розы»; я помню—тогда опро-

тивела мне современная живопись; лишь у кубистов и даже супрематистов кричащие странности и непрозяблые правды меня познавательльно волновали; но сердце не билось. Недавно увидел эскиз я: два яблока с червоточиной на краснейшей бумаге, фон синий и скомканный — только два яблока! Но захотелось мне подскочить и воскликнуть: «Да это ведь — чудо: яблоки, как живые (их взять бы да съесть)—вместе с тем—откровенье духовного мира они». Тут я понял, что самоновейшие направления были лишь пестрым мостом к углубленному реализму за-футурической линии. В «яблоках» у Чупятова — конец старых форм оказался началами старо-нового—вечного: живопись начинается! Да здравствует живопись!

С этим чувством новооткрытой страны русской живописи понял я впечатление от последних стихов Ходасевича, поэта не нового, на которого критика не бросила благосклонного взгляда. Он стоя на месте, и не стремясь в новизны, углубляя и чеканил гравюрою неколоритные строчки казалось бы... до классицизма, до стилизации? Нет: до последней черты правдивейшего отношения к себе, как к поэту, которое, вдруг заблестав простотой из пестрот и персидских ковров модернизма, меня заставляет сказать: «Что это? Реализм доведенный до трезвой суровой прозы, или—откровение духовного мира?»

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозвратно льшит
Почти свободная душа.

Разве это поэзия? Простой ямб, нет метафор, нет красок — почти протокол; но протокол — правды отстоянного душевно-духовного знания. Знаете, чем волшебным освещены эти не-марки строчки? Одною строкой, верхней одним словом «почти». «Почти свободная душа». Как в «чуть-чуть» начинается тайна искусства, так в слове «почти» — магическая красота правды строк: и это «почти» — суть поэзии Ходасевича. Или:

Смотрю в окно — и презираю;
Смотрю в себя — презрен я сам;
На землю грома призываю
Не доверяя небесам.

Дневным сиянием объятый
Один беззвездный вижу мрак.
Так вьется на гряде червяк
Рассечен тяжкою лопатой.

Последние две строки одним штрихом вычерчивают весь рельеф восьмистишия; стихотворение, как картина, выходит из рамы: становится жизнью—правдой души.

Или: вот стихотворение «Ласточки». Имеющий ухо да слышит!

Имей глаза—сквозь день увидишь ночь,
Не озаренную тем воспаленным диском.
Две ласточки напрасно рвутся прочь
Перед окном шныряя с тонким песком.
Вон ту прозрачную, но прочную плевую
Не пробовать крылом остроугольным.
Не выпорхнуть туда за синеву,
Ни итичьим крылышком, ни сердцем подневольным.
Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи
Не станешь духом. Жди, смотря в упор
Как брызжет свет, не застывая очи.

Здесь прием тот же: стихотворение умеркает тенями неяркости; вдруг «чуть-чуть»—свет, штрих, зигзаг поэтической правды (отстой многих жизненных лет); и—Рембрантов рисунок; неяркость, не маркость—прием для «света правды»:

«Пока вся кровь не выступит из пор.
«Пока не выплачешь земные очи
«Не станешь духом.»

Вот — девиз всякой правдивой и вечной поэзии: она не только душевна, она и духовна: метафоры, яркости, нестрота, ритмы, умности и заумности, неологизмы—не спорю: все это—прекрасное оперенье душевности; и лучше душевность, чем бездушевность, когда «духа поэзии» нет; «дух» поэзии—правда; и «облаками в штанах», и утончением чувства он, «дух», не дается еще: где же есть «дух поэзии правды», там критерии старого, нового, пролетарского, декадентского или крестьянского стиля отступают на задний план; хорошо если к духу присоединится «душевность». Мы скажем: «Какая яркость!» И ярк Клюев, когда говорит:

«Осеяет словесное древо
«Избяную дремучую Русь.»

Но не забудем: «словесное дерево» — еще есть метафора, или — душевность (у Клюева за душевную роскошь есть зерно духа); можно писать «духом» без «древословных навесов»; и быть все же поэтом воистину. У Ходасевича нет «древословных навесов», а есть среди серого фона и сумерка строчек один только штрих, молниеносно рельефящий все: штрих «духовной поэзии»; в наши же дни, когда все, что — земля и душа, расплылось (земля не питает, душа не хмелит), — в духовности, в трезвости, в строгости, в четкости, — правда; и эта правда поэта не нового ставит в самоновейшее место: «Пока вся кровь не выступит из пор, не станешь ты поэтом правды» — хочется перефразировать Ходасевича.

Искони пестрота и «душевность» (духовная, бездуховная) заполняли духовность поэзии — только духовность; и только духовные — открывались потом. Наше время такое открытие знает: Баратынский стоит перед нами: в истекшем столетии крылся он в сумерках, заглушаемый попеременно: поэзией Пушкина, Бенедиктова, Лермонтова, Алексея Толстого, Надсона; его заслонили великие, малые — все, чтоб в двадцатом столетии выпрямил он исполинский свой рост. Ходасевича по размеру с иными поэтами современности сравнивать я не хочу, но — скажу: точно так же в кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже»... И хочется крикнуть: «Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде». И он может сказать языком Баратынского о характере музыки своей, что красавицей ее не назовут, но что она поражает «лица необщим выраженьем». И это «необщее выраженье» — тeneвая, суровая Рембрандтова правда штриха: духовная правда!

Андрей Белый.